

Сергей Куняев

«Меня Распутиным назвали..»

Из книги «Николай Ключев»

17 марта 1915 года министр внутренних дел правительства Российской империи утвердил устав «Общества возрождения художественной Руси». В уставе общества формулировалась как необходимость его создания, так и стоящие перед ним насущные задачи:

«...еще нигде не осознавалась общая задача такого возрождения художественного быта древней Руси, которое могло бы дать широким кругам общества побудительный толчок к отказу от иностранных заимствований, предпочтению русских образцов, и далее – ознакомив всех с высоким достоинством этих последних, заставить изучить, а следовательно – и полюбить их, дало бы новую жизнь русскому самобытному творчеству для преемственного возрождения давно забытого прошедшего. С последней именно целью учреждается «Общество возрождения художественной Руси»...

1. «Общество возрождения художественной Руси» имеет целью распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным условиям. Деятельность Общества распространяется по всей России.

2. Для достижений указанной цели Общество имеет в виду... распространять сведения о художественной стороне церковного и гражданского быта древней Руси и возбуждать к ней общественное внимание путем устройства чтений и бесед, а равно – путем издательства, заботясь при этом о чистоте русской разговорной речи и книжного языка».

Николай II направил председателю Общества князю А.А. Ширинскому-Шихматову Высочайшую телеграмму: «Сердечно приветствую добрый почин учредителей общества, желаю быть осведомленным о всех его трудах и успехах. Николай».

Штаб-офицер для поручений при коменданте Царскосельского дворца, лейб-гвардии Павловского полка полковник Дмитрий Николаевич Ломан стал одним из администраторов и организаторов Общества и осенью того же года, познакомившись с Николаем

Клюевым и Сергеем Есениным, принялся вынашивать план выступления «сказителей», как он их называл, – живых носителей «древнего русского творчества» в его современных «проявлениях» – при дворе.

Легко сказать – познакомившись... Это «знакомство» было организовано, и организатором его был никто иной, как Григорий Распутин.

«Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот белобрысый. Ей Богу, он далеко пойдет». Такое сопроводительное письмо Распутин отправил с «ребятами» Ломану.

Так что несколько в иной последовательности протекал клюевский вояж, нежели вещал он об этом в 1922 году в «Гагарьей судьбине».

«В Питере, на Гороховой, бес мне помехой на дороге стал. Оболочен был нечистый в пальто с воротником барашковым, копыта в калоши с опушкой упряваны, а рога шапкой «малоросс» накрыты. По собачьим глазам узнал я его.

«Ты, – говорит, – куда прешь? Кто такой и откуда?».

«С Царского Села, – говорю, – от полковника Ломана... Григория Ефимовича Новых видеть желаю... Земляк он мой и сомолитвенник...».

К «земляку и сомолитвеннику» Клюев пришел до Ломана, будучи уже, по его собственным словам в «Гагарьей судьбине», знаком с Распутиным, дорогу к которому ему теперь загораживал «бес» – царскосельский привратник. А Клюев и здесь зрел сущность за оболочкой.

«В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда человек ступает на передки ног, чтобы легкость походке придать, учуял я, что это «он». Семнадцать лет не видались, и вот Бог привел уста к устам приложить. Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

«Ты, – говорит, – хороший, в чистоте себя соблюдаешь... Любо мне смирение твое: другой бы на твоём месте в митрополиты метил... Ну да не властью жив человек, а нищетой богатой!».

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей, трещинка поперек нижней губы, и зрачки в масло окунуты. Под рубахой из крупной китайской фанзы – белая тонкая одета и запястки перчаточными пуговками застегнуты; штаны не просижены. И дух от него кумачный...».

Клюеву важна каждая деталь и одежды, и обихода. Как заново всматривается он в давнего знакомого и «сомолитвенника», и отмечает про себя его слова, что на месте Клюева другой «в ми-

трополиты бы метил»... А глядя на Распутина, подумаешь: тут не «митрополит», тут выше бери...

Все подмечает Ключев: и столик с дешевыми бумажными салфетками, и иконы не истинные, «лавочной выработки», и истинную «серебряную лампадку»... И в самого Распутина всматривается внутренним зрением, понимая, что тот так же видит и его.

«Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на образа, а как «аминь» сказать, внизу или вверху – то невдогад – явственно стон учулся.

«Что это, – говорю, – Григорий Ефимович? Кто это у тебя вздохнул так жалобно?».

Легкое удивление и как бы некоторая муть зарябили лицо Распутина.

«Это, – говорит, – братишко у меня тебе жалуется, а ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное открывает... Ты знаешь, я каким дамам тебя представляю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского царя увидеть? Только пророчествовать не складись... В тебе ведь талант, а во мне дух!».

Нет, Ключев не хочет видеть царя... Дамам он позже будет представлен, но сейчас отмечает, как Распутин пытается распределить «роли» на будущую встречу, дабы Ключев его не «заслонил»... Других нечего опасаться. А этот – может.

И понимает распутинское беспокойство Ключев. И переводит разговор на другое.

«Неладное, – говорю, – Григорий Ефимович, в народе-то творится... Поведать бы государю нашу правду! Как бы эта война тем блином не стала, который в горле комом становится?»

Знает ведь, кому говорит. Чует отношение Распутина к будущей второй год войне (а ведь могло распутинское слово предотвратить роковой шаг еще год назад – да вовремя на него «покушение» было устроено), и сам Ключев, очнувшийся от первоначального военного угара, уже написавший «Нивушку-черненьку» и «Покойные солдатские душеньки...», переживал все происходящее, как предапокалиптическое время. Распутину на большую мозоль наступил – и тот среагировал. И сам перевел разговор.

«Я и то говорю царю, – зачастил Распутин, – царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы!».

Ой ли! Зная отношение Николая II к частному землевладению, – сунулся бы Распутин к нему с такой речью? А мог и сунуться. Ведь когда приставали к нему репортеры из различных газет – прямо им отвечал:

«Интересуюсь я теперь мужичком, от него все. Вот построили вокзал. Хороший вокзал... А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то отдавали на постройку.

Вот вы все пишете про меня небылицы, врите, а я ведь за мужичков... Мы теперь решили ставить архиереев из мужичков. Ведь на мужицкие деньги духовные семинарии строятся...

На чем Россия держится?.. На мужике. Вот закрывают кабаки – два закроют, а один откроют, а мужики тащат да тащат деньги... Поеду в Петербург, буду стараться за мужичков...

Ты вот что, дорогой, напиши, коль ты так уж писать хочешь... вот что: всяка аристократия мужичком питается... Мужичок – есть сила и охрана ее, аристократии-то. Мужичок – знамя, и знамя то всегда было и всегда будет высоко...»

Но сейчас перед ним не царь и не газетный корреспондент, а Ключев, отношение которого к «землице Божьей» знает Григорий Ефимович. И подыгрывает, не лицемеря. Ибо сам понимает – это последняя и единственная возможность предотвратить грядущий пожар. В общем-то уже несбыточная.

И опять все видит Ключев. И снова пытается говорить о другом.

«Старался я говорить с Распутиным на потайном народном языке о душе, о рождении Христа в человечке, о евангельской лилии, он отвечал невпопад и, наконец, признался, что он ныне «ходит в жестоком православии». Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомошнике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей плененной Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски...».

И, уже обозначив отчетливую дистанцию между собой и Распутиным, проведя незримую и непреходимую черту, привел к нему Ключев Есенина, который, судя по всему, чрезвычайно понравился «старцу», больше, чем его «сомолитвенник» – и получили они тогда рекомендательное письмо к полковнику Ломану. А тот взялся за дело по-хозяйски.

По донесениям филеров, Дмитрий Николаевич Ломан с октября 1914 по декабрь 1916 года посещал Распутина 19 раз. И тут – хочешь не хочешь – задашь вопрос: какую роль он играл в дворцовой интриге вокруг «старца»?

Он устраивает чтение (по отдельности) Николая Ключева и Сергея Есенина перед императрицей Александрой Федоровной. Ключев в «Гагарьей судьбине» вспоминал об этом чтении без особого восторга:

«Как меня учил сивый тяжелый генерал, таким мой поклон русской царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. «Что ты, нивушка, чер-

нешенька...», «Покойные солдатские душеньки...», «Подымались мужики-пудожане...», «Песни из Заонежья» цветистым хмелем сыпались на плечи и букли моих блистательных слушателей.

Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматривая меня. «Это так прекрасно, я очень рада и благодарна», – говорила она, едва слышно шевеля губами. Глубокая скорбь и какая-то ущемленность бороздили ее лицо.

Чем вспомнить Царское Село? Разве только едой да дивным Феодоровским собором. Но ни бархатный кафтан, в который меня обрядили, ни раздушенная прислуга, ни похвалы генералов и разного дворового офицера не могли размыкать мою грусть, чувство какой-то вины перед печью, перед мужицким мозольным лаптем».

А еще раньше, в январе 1916 года, они вместе выступали перед великой княгиней Елизаветой Феодоровной сначала в Марфо-Мариинской обители, а потом в ее московской резиденции, и получили от нее по экземпляру Евангелия и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и св. Марфы и Марии... Послушаем снова самого Ключева:

«Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче дышалось и думы светлее были... Нестеров – мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая, спросила меня про мать мою, как ее звали и любила ли она мои песни. От утонченных писателей я до сих пор таких вопросов не слыхал».

Неспроста, ох неспроста зашел этот сердечный душевный разговор в покоях великой княгини. Подготовилась она к этой беседе. И чем больше думаешь об этих встречах – тем естественнее приходишь к выводу: это были смотрины. Елизавета Феодоровна, ненавидевшая Распутина, присматривалась к Ключеву, подведенному к ней деятелями из «Общества возрождения художественной Руси» и полковником Ломаном, в частности.

Еще в 1906 году генеральша А.В. Богданович записывала в своем дневнике: «Мадемуазель Клейгес говорила, что в бумагах покойного Трепова нашли документы, из которых ясно, что он собирался уничтожить всю царскую семью с царем во главе и на престол посадить великого князя Дмитрия Павловича, а регентшей великую княгиню Елизавету Феодоровну».

Слухи ли, сплетни ли – но разговоры такие ходили... При любых обстоятельствах, по мнению великой княгини и ее окружения, Распутин подлежал удалению из дворца. И физическому уничтожению. А на его место... коли иного варианта не просматривается... Хотите мужика – будет вам мужик!

Иными соображениями не объяснишь заказ Ломана Ключеву и Есенину на написание стихов, прославляющих «аромат храмины государевой», от которого Ключев благоразумно отказался в письме «Бисер малый от уст мужицких» за своей и есенинской подписью. Он нутром почуял, что его самого и его любимого друга затягивают в смертоносную воронку, чего не почувствовал Есенин, для которого осталось загадкой поведение Ключева в эти дни. В контексте этих событий становится понятным смысл есенинского письма к Михаилу Мурашову от 29 июня 1916 года.

«Дорогой Миша! Приветствую тебя из Москвы. Разговор у меня был со Стуловым, но немного, кажется, надо погостить. Ключев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику. Стулов в телеграмме его обругал, он, оказывается, был у него раньше, один, когда ездил с Плевицкой и его кой в чем обличили».

Н. Стулов, как Есенин, служил в чине прапорщика при Царскосельском военном санитарном поезде № 143 и исполнял разнообразные поручения Д.Н. Ломана, в частности, устраивал Ключева и Есенина на жительство в Москве для выступлений перед Елизаветой Феодоровной. Жаль, что не сохранилась его телеграмма и невозможно сказать – в чем именно Стулов «обличил» Ключева. Но фраза «я не знаю, для какого вида он затягивал меня в свою политику» говорит о том, что Ключев, гостивший у Есенина в Константинове, отказался ехать с ним в Москву, где, видимо, предполагалась очередная встреча с членами царской фамилии. Отсюда и «политика» в письме ничего не понявшего Есенина, который был обречен возвращаться к месту воинской службы.

...В 1922 году Есенин рассказывал А. Ветлугину о своих встречах с Распутиным.

Принято думать, что эти рассказы – сплошная выдумка. Но недаром Ветлугин сделал к ним необходимое предупреждение.

«Есенину была свойственна известная страсть к приукрашиванью, гарпированью.

Но не думаю, чтобы он выдумывал целиком.

Да и для чего?

В частности, о встрече своей с Распутиным он рассказывал в 1922, шесть лет после смерти Распутина, пять лет после того, как самое имя Распутина потеряло какую бы то ни было значительность».

И вот что рассказывал Есенин:

«Выслушав стихи Есенина, старец будто бы сказал:

– У-ух, и хитер же ты, Серега, страсть, как хитер...

Есенин (представляете, как наивно заблистала помутневшая голубизна глаз):

– О чем это ты, Григорий Ефимович, про какую такую хитрость?

– Да уж знаю про какую! Думаешь, коли нараспев вирши свои читаешь, не понимаю я, к чему гнешь... Так и скажи князю – «прост, мол, Григорий, да не родилась еще тамышь, что коту на хвост звонок повесила...».

– Про какого это ты князя, Григорий Ефимович, рассказываешь... Я с князьями не знаюсь...

– Ты-то... Вот что я тебе, Серега, скажу... Ты из Рязани, я сибирский... не проведет Рязань Сибирь... Про Ермака слышал... Как он Грозного царя вокруг мизинца обкрутил...».

Про какого князя речь? Да про генерал-майора князя М.С. Путятин, также одного из инициаторов «Общества возрождения художественной Руси» и на людях – друга, а по сути – лютого врага Распутина.

Как и Ломан – Путятин вел во всей этой карусели свою игру. Распутин все острее и острее чувствует: обложили со всех сторон. И роль, предназначаемую в этой игре старому «знакомцу» Ключеву и понравившемуся ему Есенину – видит и понимает.

«По словам Есенина в Распутине его интересовал не только тип», – пишет Встлугин. Дальнейшие упоминания о «дружбе» Есенина и Распутина, о том, что «Есенин избегал появляться со старцем «на публике», и что «Есенин частенько появлялся на Гороховой» и «не раз» посещал с Распутиным «Виллу Родэ» смело можно отнести к есенинским фантазиям. Но распутинские слова, обращенные к Есенину, ни на какие «фантазии» не спишешь.

«Когда я бывал с Распутиным, – смаковал Есенин, – я всеми десятью пальцами ощупывал – гниет, ползет, тлеет умирающее общество. Распутин... Бумеранг... Думал сблизиться с землей, а она... бац... по лбу...»

Так передавал слова Есенина Ветлугин.

А Ключев...

«Гришка Распутин мне дорогу перешел. Кабы не он – я был бы при царице...». Это Ключев говорил уже в начале 30-х годов, многое переживував и переосмыслив, когда в «Песни о великой матери» рисовал портрет Николая почти идиллической акварелью, и где Распутин выступает как нечистый («Где с дитятей голубится черт»), разрушающий царскую обитель.

*Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!
Иль навеки шальная рубаха*

И цыганского плиса порты
 Замели, как пургою с размаха
 Мономаховых грамот листы ?!
 Вон и речки Смородины заводь,
 Где с оглядкой, под крики сыча,
 Взбаламутила стиркой кровавой
 Черный омут жена палача!
 Ярым воском расплавились души
 От купальских малиновых трав,
 Чтоб из гулких подземных конюшен
 Прискакал краснозубый кентавр.
 Слишком тяжкая выпала ноша
 За нечистым брести через гать,
 Чтобы смог лебеденок Алеша
 Бородатую адскую лошадь
 Полудетской рукой обуздать.

А перед революцией многие сравнивали самого Ключева с «краснозубым кентавром».

Весной 1917 года Николай Гумилев написал, пожалуй, лучшее свое стихотворение. Одно из немногих стихотворений, пронизанных подлинным страхом, и, наверно, единственное, где этот страх продиктован ощущением неумолимой поступи рока, надвигающегося на Россию.

Это стихотворение «Мужик».

В чащах, в болотах огромных,
 У оловянной реки,
 В срубах мохнатых и темных
 Странные есть мужики.
 Выйдет такой в бездорожье,
 Где разбежался ковыль,
 Слушает крики Стрибожьи,
 Чужая старинную быль.

.....
 Вот он уже и с котомкой,
 Путь оглашая лесной
 Песней протяжной негромкой,
 Но озорной, озорной.

Стихотворение, как известно, насыщено приметами биографии Распутина. Но есть в нем и еще один смысловой слой, не сразу угадывающийся.

Гумилев никогда не встречался с Распутиным. При чтении же «Мужика» создается устойчивое впечатление, что речь идет о человеке, хорошо знакомом Гумилеву лично, и на наших глазах совершается контаминация образов царского фаворита и того, с кого Гумилев, по сути, писал его портрет.

С Николая Ключева, образ которого в литературных кругах Петербурга уже тугим узлом связался с образом Распутина.

«В конце 1915 года, – вспоминал Рюрик Ивнев, – иеромонах Мардарий, приехавший за несколько лет до этого из Сербии, прочел в Колонном зале Дворянского собрания лекцию «Сфинкс России», в которой, не называя имени Распутина, обрушился на него с обвинениями в подрыве основ империи.

С не меньшим основанием фразу «Сфинкс России» можно применить и к поэту Николаю Ключеву. Он был загадочен с головы до ног».

Это воспоминания 1969 года. А по горячим следам писалось и говорилось куда хлеще: «Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верха. Ключевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но – это нужно заметить – в те годы скорее ждала революции сверху... Распутинщиной от ключевщины несло, так и теперь несет».

Вернемся, однако, к Гумилеву.

*В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! –
Обворожает царицу
Необозримой Руси.*

*Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, –
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.*

*Как не погнулись – о горе! –
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?*

Что за апокалиптическая картина? А ведь в ней заключен глубинный смысл.

Гумилев пишет сюжет с Распутиным, а видит перед собой Ключева, носившего на груди древлеправославный восьмиконеч-

ный крест, ставший символом православия после разделения христианской церкви на западную и восточную и отвергнутый, изгнанный отовсюду после нововведений Никона. «Всюду во всей России, – писал Федор Мельников, – на всяком подобающем месте возвышались и сияли своим благолепием восьмиконечные кресты Христовы: на святых храмах Божиих, на колокольнях, над входными воротами в ограду церковную, даже над воротами и калитками каждого дома христианского... Возвышался он над хоругвями, сам будучи хоругвиею христианства, над дверями церковными и во всех других местах храма Божия, где полагался Крест; на груди всякого русского человека висел восьмиконечный крестик, хотя и на четвероконечном, как на основе изображенный...». Восьмиконечный крест отчетливо виден на груди Ключева на петроградской фотографии 1916 года, где он снят рядом с Сергеем Есениным.

Древняя мужицкая Русь в образе не то Распутина, не то Ключева входит в «гордую нашу столицу», и при ее появлении готовы покинуть свои места «крест на Казанском соборе и на Исакии крест» – символы и хранители императорской, романовской России, замершей в предчувствии неминуемого возмездия.

*Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.*

Поразительный образ! Львица – глава прайда, охотница и добычица (охотник и путешественник Гумилев хорошо знал повадки этих зверей). Мужицкая Россия – добыча града-львицы – сама превращается в охотника на своего преследователя-хищника. И конца этой новой охоте не предвидится.

*«Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?»*

*В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный шум их шагов».*

Стихотворение «Мужик» было написано в марте 1917 года и напечатано в книге «Костер», вышедшей в 1918 году. Но нет ника-

ких сомнений, что Ключев знал его до публикации. Весной 17-го он был в Петрограде, очевидно, слышал его от самого Гумилева и уже осенью написал свой ответ.

*Меня Распутиным назвали:
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны.
Что души-печи и телеги
В моих колдующих зрачках
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженных стихах.*

Ключев, утрируя слухи и сплетни, ходящие по столице о Распутине и применяя их к себе, подчеркивает свое первородство, обозначает свой природный русский и одновременно вселенский духовный исток – в образе Царьграда, Святой Софии, где Лев – сакральное животное в ключевском мире – не охотник на человека и не защитник от него своего потомства. В ключевской «алконостной России» они говорят на одном языке, который неведом мнимым друзьям и приятелям и временным «единомышленникам», окружавшим его в столице в канун краха империи.

*Картавит дружба: «Святотатец».
Прияство: «Хам и конокрад»,
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вещему Царь-град,
В тысячестолпную Софию
Стекутся зверь и человек.
Я алконостную Россию
Запратал в дедовский сусек.*

.....
*Потомок бога Китовраса
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса
И в конокрады угодил.*

Слишком жива была в его памяти встреча с Распутиным, с которым Ключев пытался, но так и не смог найти общий язык.

И не мог Ключев не вспомнить свое посещение Царского Села и своих совместных с Есениным чтений перед Елизаветой Феодоровной в январе 1916 года в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке и в ее московской резиденции. Тогда-то и пущен был по

питерским салоном слух о нем, как о новом Распутине. И «распутинский» мотив уже не отпустит его практически до конца. Только если Распутин и в реальности и клюевском представлении – охранитель и надежда трона, то Ключев – в 1917-м – его сокрушитель.

*Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово – змея по плечи
И схимника голова.*

*В поддевке синей пурговой
В испепеляющих сапогах
Перед троном плясало Слово
На гибель и черный страх.*

Он, отказавшийся от своего и Есенина имени, писал стихи в честь императорского дома, нутром чуявший что неспроста все эти приглашения, забота и обласкивания, что его с любимым другом втягивают в многослойную и опаснейшую интригу, он, потомственный старовер – со всеми своими религиозными отступлениями и отклонениями, – ненавидевший Романовых всех скопом, – не мог не ответить в этом же стихотворении сплетникам и клеветникам от имени Вечности.

*За евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не оберточный Романов,
А вечность жалует меня.
Увы! Для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.*

Миллионы.... Действительно, много ли таких мужичков, чья поступь привела Гумилева в содрогание...

Но Бог с ними, с оберточными Романовыми... А вот «евхаристия шаманов» дорогого стоит. За этой евхаристией, поистине, может быть лишь одно причащение – кровью и огнем.

Он знал, что впереди: кровь и огонь.